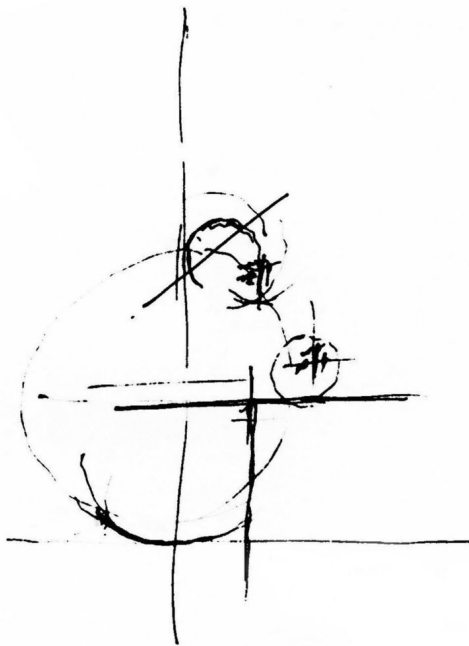


АЛЕКСАНДР СТРОГАНОВ

СТИХИ



Александр Строганов

СТИХИ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17687713

Стихи:

ISBN 978-5-0050-0831-2

Аннотация

«Писатель Строганов проник в „тонкие миры“. Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть, не отрываясь. Этот писатель навсегда в русской литературе».

Нина Садур.

Содержание

Excentrique	5
Мелос	5
Капища	32
Excentrique	78
Пианизм	103
Сутки безвременья	105
Конец ознакомительного фрагмента.	111

Стихи

Александр Строганов

Иллюстратор Александр Строганов

© Александр Строганов, 2021

© Александр Строганов, иллюстрации, 2021

ISBN 978-5-0050-0831-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Excentrique

Мелос

Уже зелень испорчена. Близорукость.
Каин в глазах. Уже вытравлен круг,
Разбередивший площадную глупость,
Не пощадив голубей и старух.

Влажные слепки пространства, бумаги
Без судей к ногам приговорены.
Отрезвленные нашатырем бедолаги
В них похоронные видят цветы.

Уже не услышать ругань фонарщика.
Без ласки остыла стеклянная плоть.
И будто сам грешник над площадью в наволочке.
Уже вышел табак и бессильна щепоть.

Без благословения пустой табакерке
Уже не до музыки. Город пропал.
Лишь по старинке, как на поверку,
Из коконов к окнам сзывает квартал.

Гражданам июля

Так случается, город постигнет жара,
Полдень воблой хрустко доходит под пеклом.
Капля соли искрится на проводах.
Час седой и колючий, как пригоршни пепла.

В этот час, расходясь, подгоревший белок
Загоняет в подвалы все тучи и тени.
Упирается палец в помертвевший висок,
И листва задыхается, празднуя лень.

Безголосый базар, его птицы мертвы.
Не смыкает свои воспаленные веки
Над трудами бритоголовой братвы,
Что терзаема искусом крови вовеки,

И чудачеств не счесть при такой духоте —
Сцены ревности, бег, суета объяснений,
Сток пощечины. Клокотание в котле
Не унять. И, как раки, краснеют колени.

Сам воздух растерзан, что фраза заики,
Где ветер, как хохот, ресницы смыкает,

Где страшно, а спины слепые безлики,
И псы сиплый лай вместе с пылью лакают.

Там шорох шнуром пол ногами резвится,
Где, враз оборвав телеграфные вены,
Сам воздух, дрожащий, как самоубийца,
Трется щетиной о серые стены...

Лето – душная картонная коробка.
Бродит с ней язычник в пестрых странах.
Пахнет рыбой плащ его короткий.
Ядовитый зуб в худом кармане.

Блуд в харчевнях, где он спит и курит,
А в гексаметре шагов его одышка.
И слепой ему дороги не уступит.
И когда умрет – мы не услышим.

О. Матфеею

Назваться Матфеем и носить безмерную душистую
рубаху,
И полагать, что можно остановить время подобранным

где-то прутом,
И при встрече с умершим улыбаться, не испытывая
страха,
И сотворение лета именовать своим ремеслом,

И рассказывать всем, как правильно изобразить
мелодию,
И в трамвайном треске души не чаять,
И грозить премилым девицам пальцем навроде
Доброго наставника, их спутников не замечая,

И подолгу болтать о чем-то с дворовой собакой,
И подолгу стоять на вокзале молча,
И не уметь смеяться, и не уметь плакать.
Но слышать, как переговариваются летчики,

И знать, какие сегодня на базаре цены,
И не различать птиц, всех называя птахами,
И, укладываясь, засыпать мгновенно,
Не снимая безмерной душистой рубахи.

Облаков ли не уберегли?
Или были белыми дни?
Волей невидимого ли весла
Высь с одуванчика смерть унесла?

Седобородая морда ль быка?
Олух пролил ли ведро молока?
Или постели постланы были
С вечера, да любить позабыли?
Или любили, но рано ушли?
Или ключей под ковром не нашли?
Выкупаны ли в муке воробьи?
Или оставлен след от лады?
Или дурили, да в перья попали?
Или глаза от застолий устали?
Или лето Лете сродни?
Или были белыми дни?

Так металлическая грамота оград
Выдерживает поцелуи детских щек,
Так терпят станции те слезы наугад,
Что дарит им, прощаясь, новичок,

Так сносит сказочная тишина
Стрельбу из спичек по углам подвала,
Так смерть к блаженному нежна,
А ей любви недоставало,

Вот так же нас хранит судьба,
Статистов, свистунов окраин,

И не дает сойти с ума,
А сколько о себе мы знаем!

Мне бы затылки твои перечесть,
К песку устремившийся взбалмошный август.
С коварством придумывающего весть,
Остановить бы, запомнить, пусть старостой...

Но близнецами мне беглецы.
Кричу впопыхах, выкликаю их словом.
Душа моя видеть уже не готова.
Успеть упереться бы в изразцы.

Успеть бы наметить путь солнечных строчек.
Как в детстве, попав в рукомойник мячом,
А не успею, дай, Господи, точности
Влет задремавших коснуться плечом!

Я читал осень, касаясь пальцами золота знаков.
Где туман, забавляясь, морочил кустарник газовыми
платками.

Как из разобранных шахмат демоны дыма и лака
Легкое отражение свое пили большими глотками.

С каждым глотком прояснялось. Здесь следы Бутафора.
В них конницы круговерть, в них канкан и рука,
И разряд электричества в напряженном изгибе танцора.
Или лопнула нить, что держала звезду до утра.

Я видел как лес, дрогнув, вдруг закружился. Солнце!
Плыл неприкаянный плод в свите косматой стрекоз.
Медные стрелы пробili себе ослепительные оконца,
Чтобы по свисту пространство поймать в сети из ста
полос.

Листья трещали, морщась от света, и враз рассыпались
стручками.

Так бронзовый маятник насмерть дробил придуманный
утром узор.

Оцепеневшие горбились тени, касаясь друг друга
плечами,

А контур, качаясь, уже размечал для сумерек коридор.

Вечер, зверь, переживший весь ужас охоты,
Город, как улей, наполнил ленивым гулом,
Желтый огонь расплескал по стеклянным сотам,

Руки на раме черною бабочкой высветил.

Тревожно, будто прощание, и вещи на стуле,
Будто лукавый смех мой на вечере выместил,
Тянет теперь на потеху с собой.

Или это кривляется пар над плитой?

Бывало,
Дождавшись раздора и грязи,
Он срывал гнилую мешковину над городом
И,
Сопящей головою лошадиной,
Возникал,
Черт,
Игрок шестипалый.
Знал толк в делах,
Такой переполох
В посуде, лампах.
Лил ведрами чуму дорог
И полы оспой покрывал,
Улитками или жуками.
Копилки-рынки рассыпались медяками.
Во всех углах капустниц натолок
Черт!
Пострелы окраин учились ругаться черно,

На их глазах октябрь горел.
Как смело
Черт
Врывался в спальни
И
Из теплых еще одеял
Посмертную маску лета лепил проворно.
О, Осень,
Ты сама
Нагая, стоя на коленях,
Как милости просила этого греха,
Всегда
В тебе таился черт!
И плакал день,
И целовал
Твои обветренные губы,
Осень...

Там, где новорожденный октябрь – томат
На скользких ладонях королевы борща,
Гранатовый бык, огнедышащий брат
О будущей казни листвы вешает.

Повитухин смех, погребальный плач
Вдруг совяются кровавым бинтом по реке,

И пригрезится бойня, румяный палач,
Даже привкус соленый на языке.

Дождь, дождь,
Капля по капле,
Стаккато,
Тонкие стебли в петлицах дворов.

Дождь, дождь,
Лев литой
Приложил холодное ухо
К черному озеру неба.

Сон?
Не до снов,
Когда дождь.

Дождь, дождь,
Дождь, дождь,
Где-то девочка в вальсе кружится.
Дождь, дождь,
В дождь, в дождь
Цветы становятся птицами,

И шелест и шепот

В отечестве счастья,
И царствует поцелуй,
И слушает лев
Как смело касаются
Ноги влюбленных
Черного озера неба.

Сон?
Не до снов,

Когда дождь.
Когда дождь...

Где-то девочка в вальсе кружится,
Каплей соли дрожит на ресницах.
Или солнце на листьях искрится.
Или теплых ветров вереница
Отмечает улыбками лица,
Чтобы с осенью распроститься.
Этой осени не повториться.
Или мчит все быстрее колесница,
Уж не видно, лишь гонкие спицы
Шелестят. Так мелькают страницы
Нашей жизни. Не остановиться.
Нам от времени не утаиться.

Вот и девочка в вальсе кружится...

Сквозняки босоногие
Вымели пепла мел с теплом пополам
По ступеням слога.
Будто холода первого сизый крап строкам,

Будто осень детства.
Дней без дна – бездна.
Рябью кадок с дождем обласканы груши.
В хвойной пене перин уже не согреться,
А над замершим садом хлопья игрушек
Кружат.

Памяти О. Э. Мандельштама

Сохраните меня. Если даже в проеме дверном
Перестанут осколки разбитого лета,
Если Вам, разруганной красным вином,
Смех однажды подарит веселый содом,
Сохраните меня. Вам воздастся за это.

Будет не осень – малиновый звон.

Ох из рыхлых телец самых солнечных яблок,
Каждый сон обернется для Вас витражом
И забавной игрою полуденный сонм
Чьих-то щек, и плащей, и площадок.

Сохраните меня, как угодно, тайком,
И ладонью к губам от беды заслоните.
Я, беспутный, ворвусь полуночным дождем,
От тоски безголосым трамвайным звонком.
Сохраните меня, обернитесь, прочтите...

Не в речь, не в слова, а в белые блики,
На южные стаи пущена пряжа.
И вымучен рот нетерпением крика,
Но как совладать с немотою пропажи?

Как не сойти с ума на развилках,
Где угол опять оглянуться заставит
На лов, окольцованный гамом великим,
Рвущий на строфы взбешенные стаи?

Не заповеди зла читали ветры нараспев,
Раскачивая ветхий купол ночи.
Искрясь на севере, смеялся, осмелев
Посеребренный сказкой колокольчик.

Не страх, а скоморох чудил в предчувствии снегов,
Обрушивая шаг на листья с лязгом,
И дул в трубу, и плакал, ногу уколов,
И что-то о судьбе бубнил бессвязно.

Торжества человечества – войны и цирки,
Хаос хлама и труб, и поэты молчат,
Когда в жмурки играют чудаки на опилках,
И стекает на землю бесполезный плакат.

Когда звезды, как мелочь, теряет Вселенная,
Демон рампы простужен и смешней во сто крат.
В рыхлых банях ругаются военнопленные,
И в бреду цирковые обозы горят.

Я влюблен в твои русые волосы. Осень

Над ними свершила уже колдовство.
Вспышки золота неуловимы. Их восемь.
Здесь сокрыта соната. Так спрятан листвою

Протянувший на землю звенящие струны
Солнечный стан, и последний минор,
Словно ветер, что полон тоски по июню,
Нити дыма вплетает в хрустящий ковер.

Так безумствует запах грибной подле просек.
Тает иней на окнах дневных поездов.
Я влюблен в твои русские волосы. Осень
Их расплела в предвкушении строф.

Ты молчишь, у тебя на ладони,
Как гадание, в хаосе тропинок
Лист горячий дрожит скарлатиной.

Был скандал...
Был скандал. Теперь тишина, тишина,
Только двери поскрипывают,
Двери устали, должно быть, от трусости стекол,
И ленивые чашки, из углов подставлявшие щеки,
Больше не всхлипывают,
А даже зевают. Теперь тишина, тишина.

Теперь тишина,
И огромные руки, руки, ласкавшие ее.
Руки, никогда не смевшие ударить ее,
Руки, только что в воздухе описывавшие удивительные
линии,
Белые руки, напоминающие лишенные воды лилии,
Руки Нерона,
Именно руки Нерона
Теперь лежат на журнальном столике,
Как мертвые. Не боль ли это
Сама?
Теперь тишина.
Теперь тишина, тишина,
Кажется, никогда не воротишь ее,
А в кресле, как в гнездышке,
Чужая!
А крохотная? Со смешной челкой.
Он называл ее пацанкой, пчелкой.
Чужая
Она.
Теперь тишина, тишина.
Теперь тишина.
На вокзалах, в их письмах, в их судьбах
Такая теперь тишина!
Было. Дальше что будет?
Пока – тишина.
В раскрасневшемся абажуре
Еще что-то тлеет, кипит,
Еще пытается разбудить

Этот Рим, Но фигуры
Без сил. Напрасно. Нет слов.
Вечный пес уплетает безмолвно на кухне зареванной
плов.
На дворе закончился дождь, и в арке
Черт, прощаясь, целуется с кухаркой.

Глаза, гости ласковые,
Два глотка отболевшей беды,
Схимники сумрачной сказки своей,
Целовавшие солнца следы.

Вы – покой. Не знобит от исповеди,
В ночь сокрыты обряды скита.
В вас стихов занималась исподволь
Призрачная череда.

Смертельных огрех предвестники,
Глаза, я доверился б вам,
Но дозорный расплаты на лестнице
Приложил уже палец к губам.

Угловат человек...

Угловат человек.

Человек —

Сажи рос-

черк

В деревянных башмаках.

В деревянных башмаках

Лучше слышится зима.

Лучше слышится зима,

Где воронье кр-р-ра,

Где воронье кр-р-рра,

И сосулек стоны,

И сосулек стоны,

Где не спится белым-белым

Солнечным холодным странам,

Где от стужи в океанах

Растворились паруса,

Где-то, где-то,

Где-то, где-то,

Недалеко,

Недалеко

Счастье бродит.

Счастье бродит,

Ищет, ищет человека,

Угловатого, смешного,

Что стоит на полдороге

В деревянных башмаках...

Спит улица...
Снятся лица,
Синицы. Сбудется?

Вечерняя улица сутулится —
Зябко улице.
Это – январь,
Лада льна и снега,
Ветхий ларь с маревом и негою.

Свет по щелям щурится,
Чумная птица хмурится,
Жметя к долгим фонарям —
Мой огонь, не дам!

Пустоглазый дух гадалок
Запахнет пальто. Не видать окно.
Не спешит ли кто? Не поет ли кто?

Все! Пропал!
Не узнаю, сбудется ли —
Спит улица!

Зимний мастер

Зима – мрамор.

Ее птицы скрестили линии на хмуром небе.

Блеснет острым лезвием конек...

Ее песню можно потрогать руками.

Ее песня закручена львиными гривами на театрах.

А снежинки-бриллианты

На ветхой шубе дворника.

И звенит как камертон

Метла.

А сырая остановка, где ругает пурга —

Ее врата...

Троллейбусы,

Киты летаргии,

Опутаны насмерть стеклянной нитью,

Неоном лоснятся их скользкие спины.

В сети пойман и догорает

Снегирь...

Зима-мрамор,

Ее вены деревьями тянутся к серому глазу,

Лукавому глазу.

Это следит за адской работой,

Пряча холодные щеки

В складках гардин,

Зимний Мастер.

Ветер

Небо зимой —
Океан!
Материк его черный —
Голоса Мейерхольда,
И напудрен нос —

Шторм!
В ужасе тонут тяжелые звезды.
Грохот. Не слышно мольбы рыбака.

Беда!
Антеннами дыбятся клочья от тросов,
А крыши – торосы...

Из бездны рука
Озябшими пальцами
Вопьется отчаянно
В замерзшие стекла.

Обозначен последний аккорд.

С ней на века
Исчезнут в пучине
Стеклянных клавишей россыпи...

В снежном разгуле лисицей
Мелькнет твоя рыжая челка,
Где-то ты бродишь сейчас?

Станция

Метель.
Вокзал знобит.
Вокзал взъерошен и горбат, как Пан,
И бороною пар.

Цыгане в цветухах
Или языческие птицы.
Ах, в их зрачках пожар.

В углах
Обугленные чемоданы
Исходят запахом огня,
И лампы сами загораются в пылу.
Как близки этому
Гортанные чужие речи.

Здесь не игра – болезнь.
Но только плачут, а не лечат.

В казенном мальчики, подростки

Бегут от слез на холод.
И мне невольно, и я за ними поспешу.
Там, на перроне, все иначе,
Темно, лишь тлеют семечки в истоптанном снегу.

Метель не гасит их
О ледяные рельсы,
Несет куда-то далеко
От станции
С чудным названием
Барнаул...

День звенит. Это – звук удивления.
Так выносят на солнце хрустальный сосуд.
Это – обморок города. Это – кружение
Ослепительных точек. Распахнуты сутки

Как огромный трельяж, и разбавлена тень.
Это – слезы, когда уже сроки отсчитаны.
В обреченности с болью соседствует лень.
А развязкою – звон. Так прощаются обиды.

Так, проснувшись, однажды приходят к окну
И кричат – посмотри, позабыв все на свете.
Так предчувствием чуда в холодный канун

Вдруг исполнится день мечтою о лете.

Врач

Свет пронзил пять пальцев. Их не стало.
Взмах крыла разбойный у самых глаз.
Это кружат белые до боли покрывала,
Здесь случается такое каждый раз.

Гонят сов бессонницы поутру в чуланы.
Поутру бессонница, как ящик стекольщика,
Небо разбивает острыми углами
И, как губка, жадно выпивает солнце.

По глотку на каждого мученика боли.
Боль боится смеха и красного цвета.
Покажите, доктор, гвоздику, что ли...
Смерть под ванной мокрой ветошью

Бредит формалином, ей чудятся рыбы.
Головы тяжелые, в головах содом.
Все вокруг босое, бегом да кувырком,
Доктор, вы достать ее оттуда не смогли бы?..

Старая фотография

Маме

Акварельные сестры Лариса и Ольга
В легких платьях небесного цвета.
Взгляните, февральский день,
На дворе расцвела сирень.

Это сказка, конечно, и Оле
Где-то здесь же в атласном камзоле
Рукодельницам дарит цветных жуков
И душистые кружева из облаков.

Несет в своих крохах-ладонях
С чердака светляка-соню,
Запорошенные снегом
Дарит сахарные орехи.

Раззадорится, бронзовой флейтой
Разбудит старуху в передней.
Та глазам не верит, крестится —
Спишь, что ли, крестница?

По Воронежу шествует снег
Под хрустальные звоны сирени...

Краше испуганных крыш,
Легче растрепленных окон
Рвется зеленый кокон
Первым из почек. Кыш!

В расчерченном хаосе дня
Пышет рождение мая.
Воздушных рыб обгоняют
Ста тысяч солнц сыновья.

Руки. Их появление,
В артерии флаги льющее
От площади к площади пуще.
Волнение выше весеннее.

Ломится в щели звон
Золотом зыбких волн.
Щурится, смотрит в дверь
Лохматый солнечный зверь.

Вставай!
Май!

Кто знает, чья боль на весах,

Когда и природе больно?

Боль, но

Рождаются в мухах, не на небесах,

В полных наитий бессонных домах

Среди беспризорной посуды

На скомканных ложах простуды,

В верлибре грехов и голгоф суеты

И в маете поредевшей листвы,

В медленном темпе застолий родных,

В неловкости брошенных и холостых

Первые певчие строки...

Капища

Я весь – напряжение. Я слушаю сумерки.
Недвижим мой хор. Спит мой пес. Пуст мой ларь.
Бесенята бессонниц ушли или умерли,
В руслах руин раздражив киноварь.

Утихли в каморках хмельные отшельники,
Я слышу сквозь стены их пышный кошмар
С раем ржаным и траурным шествием
Туда, где у оспы на выучке пар.

Мне слышно, как вызубренное столетие
Стучит молоточками по головам,
Как чья-то свеча продрогшим студентиком
Рюмочки просит у царственных дам.

Я помню как плачут по рыбам дороги.
Я вижу языческий танец простуд.
Я слышу косноязычность пророка.
Я слышу как ангелы не поют.

Поэт

С его легкой руки привычные вещи
Теряли свой цвет и очертания.
Садился за стол, и строки, как трещины,
Одна за другой убивали молчание.

Чьи-то грехи фантастическим грузом
В печаль обращали липа знакомых.
Имел ли он право на запах арбуза,
Что в декабре метался по комнатам?

Он любопытством к пространству как к женщине
Лишил себя сна и, пожалуй, рассудка.
В окно наугад, не имея надежды,
Пальцем указывал линии судьб.

Но где-то влюблялись и убивали,
И лихорадку тушили губами...

У треска ночного нет кровоточащих истин,
Нет суетных ноток, бесстыдных прикрас,
Нет строгости сажи, возраста листьев,
Дрожи вина, методичности ласк.

У ласк не сыскать беспричинности света,
И сухости губ, и схожести зла,

Они лишены благодушия тщетного,
Каверзы звезд, близорукости сна.

У сна не бывает величья урока,
Мужества судорог, нудности клятв,
Красных отметок на снимках и сроках,
Вольности жизни, любви декабря.

По декабрю и свеча бесконечна,
И спальенка знает, о чем здесь молчат,
И что за фрегат, и что не обещано,
И как не тревожить, и что есмь мечта...

Кто чуть слышно в светелке у нищего
Серебряной ложечкой тычется, ищет,

Где сокрыта живая вода
Под неласковой пленочкой льда?

Это сада январского неслуши жалят,
Целуясь под окнами, ушку мешая

Алмазному вспыхнуть дотла.
О, как близко на сердце игла.

Ревнивец февраль
С ухмылкою старого-старого льва
Завьюжит, завьюжит,

Ножом полоснет,
На миг ослепит раструбы двора
И снега гирлянды жемчужные,

Дрожащий
Сорвет острия огонек
И спрячет в подъезде...

Один да другой,
И потянутся на восток
Следом кровавым созвездия.

Памяти М. И. Цветаевой

Снег. Сон светил. Собор слепых.
Сокрыты небеса, следы и тени.
Зрачки слагают акростих

Создателю за час до единения

Начал в холодный белый звон
По сумеркам, студентам и Марине,
По бражникам, ушедшим на поклон
Туда, к воде, где нет воды в помине.

Исчезли звенья, своды, письма
На дне всепоглощающего света.
Лишенные согласных имена
Грустны, как птицы Ветхого Завета.

Не слышен стон последних каравелл,
Размытых насмерть порошком стеклянным,
И лишь видения касаются несмело
Дрожащих век хозяев покаянных.

Всё – снег. Зима остановила ось
Осмеянного светопредставления,
Как няня, вытирающая слезы
Наказанному на колени.

Всё – кольца, кружева, всё – хрупкий сад,
Всё в голубом пушистом дыме.
И белый звон, и снегопад
Над бедной головой Марины.

Я – бессонница. Бессонница моя.
Домовые мои да я.
Медленно пьем горячий чай.
Ложки постукивают – дай, динь дай...

Со двора мороз в окошко шепчет.
Не понять. Лишь пар. Его речи
Узорные и важные – львы да лапы.
На кухне хлебная баба

В кастрюлях гремит, поет.
Скоро ли блинов черед?
И я запою. Ох-хой,
Подпевай, домовой мой!

Я – бессонница. Бессонница моя.
Когда хлопотно под лампами хлопьям,
Когда молчат мои простуженные двери,
Когда выюга плачет, бедный зверь.

В белом дворники, и сад, и карусели.
И не надоели им метели?

Проиграю свою боль
Догола, да в снег-соль

Танцевать с домовыми в дым

По площадкам полуживым,
Да в глазастые двери стучать —
Двенадцать, двенадцать...

Деревья зимой

1.

Есть деревья, что зимой не спят.
Это городские деревья.
Вздрагивая от криков детей
И сигналов неотложки,
Они до боли сжимают друг другу корни,
И красная кора их
Покрывается пупырышками
Наподобие гусиной кожи.

Им кажется,
Что у них есть Бог,
Свой древний Бог,
Бог Древ.

О, мученики зимы,
Городские деревья,
Как бы им хотелось забыться.
Пусть ненадолго.

Не умея молиться,
Как это делали их родители
И прародители,
Они придумали свою молитву:

Бог Древ, дай сон
Пусть хоть на миг...

Как будто шоферы в таксопарке
Играют гудками:
Бог Древ, дай сон
Пусть хоть на миг...

О, мученики зимы,
Городские деревья...
Как им хотелось увидеть своего избавителя
В толпах прохожих!

Их ветви потрошили облака.
Как подушки,
Но Бога не оказалось и там.
Только снег
Перьями падал на землю.

Бог Древ, дай сон
Пусть хоть на миг...

Вечереет.
Зажигается одно окно.
Только одно окно.
Нависший над ним тополь видит
Как старик вышел на кухню,
С тем чтобы приготовить
Себе чай.

Вот Бог, Бог Древ,
Бог Древ, дай сон,
Дай сон...

Старик вспомнил что-то,
Смеется,
Смеется и готовит
Себе чай.

О, Бог,
Ты жесток,
Ты не хочешь слышать
Мольбы деревьев!
Отчего же,
Бог?

Старик все еще посмеивается,
Наливая себе чай.
Двадцать пять лет назад
Старик посадил тополь.

Часы.
Чары.
Череда чисел.
Плечи креста,
Распоровшие дату.

Часослов ожидания
Крапленого чуда.

Шаг черепаший
Заласканных четок.
Золотой порошок
Ускользающих лун.

Кладбище пчел.
Колчан паука.

Беседа глухонемых
За стеклянной дверью
Холодных палат,
Я помню их пальцы.

Локти точильщика.
Конница искр,
Легкая конница

Господа Бога.

Ходатай сухонький
Грехопадения.

Ходики.

Ходики.

Череда чисел.

Чары.

Часы.

Казались кровью Каину волосы Авеля,
И руки горели от нетерпения вычерпать тело.
Нет, не в поле, в пыли, кареглазые эти проделки,
Много выше на жирной тарелке пальцы оставлены.

На кухни сырые вносили птиц обезглавленных.
Так начиналось, и было уже ничего не поделать.
Руки горели от нетерпенья вычерпывать тело,
Было пасмурно, и на улицах стружка оставлена.

Уже пили вино, уже пили впотьмах, уже сыпали яблоки.
Той порой привиденьем, как оспой, каста болела.
Так начиналось, и было уже ничего не поделать.
В жмурки играли и самых сноровистых кутали

в наволочку.

Крали веревки, с женщин в чуланах срывали исподнее,
На свадьбах борцы перед дракою делались белыми.
Той порой привидением, как оспою, каста болела.
Крыть ворон да собаками глупых травить было модно.

Чудно хоронили. Без изумленья, без бубнов, не плакали.
Ждали торжеств, торжествам отдавались всецело,
На свадьбах борцы перед дракою делались белыми.
Красили в красное весла, детишек же метили знаками.

Чуда не ждали, однако вязали мышинные хвостики.
Щурились, губы сколоть каленой иглой умели.
Но ждали торжеств, торжествам отдавались всецело.
Смехом живым украшали знамена и лопасти.

Жили атакой, гортанью, последнею каплей,
Суровую нить тянули капкану потомков.
Капища им – каждый храп, и трофеи, и кромки,
Каждый год, каждый дом, где оставлены волосы Авеля.

Дорогого стоит этот рябой на ветру чернокнижный дом,
Где в мертвой нише сердце старца и клетка со щеглом.

Здесь зорко тени злоязыкие следят за беспорядком,
Здесь плакальщицы волос золотой закладкою в тетрадке,

Здесь запах зверя, слепы зеркала, капризны капли,
Здесь наказание не спит в сыром углу, как цапля,

Здесь страхи пасынка впотьмах гримасой из бумаги,
Здесь бродит лунная болезнь в тяжелой фляге,

Здесь полдень обронил свой плащ из рыбьих шкур,
Полуночные вожди здесь рыжи, что твой Урия,

Здесь разузорен и треклят соленный стол, как уголовник,
Здесь на косых углах метлы алмазы бывших слов,

И арапча́та не взросло́ют. Здесь все – азартная игра,
И выпре́н смра́д, и свет повер́жен, и святы шу́лера.

Среди жадных камней и холодному пращуру дрожь.
Для сорочьего глаза и мета кровавая – брошь.

По тропинке змеиной за ночью под небом брешь.
Навсегда между конным и падшим пеший.

Сладок свет от непригубленных черненных чаш.

Горячо на иголках кузнечикам вечных шашней.

Зелено семя зла под проворовавшейся тучей.
Солоны полоротые норы от плача сучьего.

По губам плавники ядовитые бывших чаш.
Не восток замесил на бешеной браге палач.

Не у волка пропахла паленым упрямая шерсть
Там, где за барабанщиком кладбища шествуют.

Что ж Вы, добрый человек,
Разве можно так печалиться?

Ваши острова во млеке
И не старятся,

На морозе Ваши грезы
Что часовенки,

Огоньками Ваши слезы
По еловникам.

Вам не видеть переездов
На холодные квартиры.

На холодные квартиры,
Где давно уже не живы,

Где давно уже не живы,
И не встретишь их в подъезде,

Ваши бывшие любимые
И соседи нелюбимые.

Нал альбомом фотографий,
Где вы мальчик, где вы с мамой.

Нет уж никого.
Есть ночлег друзьям.
Есть вино друзьям.
Им сейчас легко.

К ним сейчас нельзя.
Вам еще нельзя.

Долгим будет век,
Добрый человек.

И не стоит так печалиться.
Кому это понравится?

Зеркало.
Зев забытья.
Голод озер.

Бездна сочувствия,
Зола, застывая, страдала.

Глухота Фигаро,
Стол двойника,
Как холодны его щеки.

Улыбка зимы
Со слезами и сажей.

Ласка Офелии.
Страж суеверий
С лицом настоящего,
Его простыни – страшно.

Водобоязнь.
Лезвие судеб.

Плоскость больного
С шипением горя
За каждой спиной.

Серебряный зов Атлантиды.

Сумерки с исполином.

Сказка с молитвой.

Зосима.

Зосима.

Зеркало.

Актер

С. Серову

В гримерке тепло и жутковато.
Волнуются красные шторы.
Все будто в заплатах. Такой беспорядок
Лишь в детских больницах.
Игрушки, и что им не спится?
За мною следят, как за вором.

Крапленые роли, заложники жизней,
Игривых как брют размалеванных судеб
Со столиков хромы готовы, лишь свистни,
Сорваться, ходить по щекам и
Сыпаться вусмерть клоками
За те прегрешения, коих не будет.

Я жду. За стеною Вселенские порохи.
Увалень гулко спускается с лестницы.
Приготовления к ужину. Спор. Вздохи
Кресел. Гонят взащей домочадца.
Сумерки ищет сверчок в декорациях.
Долго молчат. Кому-то пригрезилось.

Как долго молчат! От громоздкой бессонницы
В комнате тесно. Связаны локти
Траурным бантом беспечной поклонницы.
Все в ожидании хозяина.
И слезы неосязаемы.
Гримерку знобит. Какое-то колотье

В складках и фалдах... У зеркала плут.
Что позабыл здесь чужой?
Почувствую свет за собой.
В мертвенном зеркале с каплями воска
Псы лижут кровь с ковров, охотники их бьют
С остервенением и вечно, как у Босха.

Актер! Вернувшись с поля брани,
Ты не узнаешь глаз моих.

Рабочий

Дым в захламленных домах.

В чуждых глазу измерениях
Грозно бродят чьи-то тени
На подкошенных ногах.

Кашель копоты. Огарки.
Брызги тонные чернил.
Красные литые скатерти
Будто Голиаф стелил.

Металлические мавры,
Злые куклы, дух кино.
Топотню их под литавры
Здесь не слушает никто.

Здесь кладут большие руки,
Затевая свой уклад.
Что, Бетховен, был бы рад
Выслушать такие звуки?

В них ворочается зверь,
Распаляя груды углей.
Им навстречу кто-то смуглый
Из распахнутых дверей,

Ухватив за ноздри ночь,
Всю Вселенную хохочет.

В миру, где обедают со сквозняком.
Карлик в расстрелянном платье
И до песен охочая карлица
Терпят свой век особняком.

Там, где кланяются, там, где дразнятся,
Там, где невинным консервным крючком
Вены враз отворяются.
Там, где розы морщатся под потолком,
Там, откуда бегут за звонком,
Пятясь, как каракатицы,
Карлик с холодным, как рыба, зонтом
И карлица с желтым пугливым бантом
Представлению улыбаются.

Чем-то им выйдет пятница,
В миру, где обедают со сквозняком?

Возалкала на воле волчицею быть
Вымученная мечта.
Чем не чудо из губ лепить
Охальные имена?

Как отбившихся птах не словить
В пестрый чулок?
Пуговицей не позолотить
Розовый кулачок?

Краденое время без молитв и смуты
Лестницей терпло в огромном суде.
Очи черные капельками ртути
Скатывались вниз к роскошной беде.

Из-за оград больничною интригой
Сыпались котомки на суматошный кон.
Дотошно выписанный желтой книгой,
Насмерть скрепленной ржавеющим замком.

Спать не сметь! – стыдили полотеров,
До блеска драющих низложенную скорбь.
Вили ядовитые узоры, без которых
Казался беззащитным каждый лоб.

И влюблялись в мышь мясистые пииты.
Хлебали повара. Приветствовали флот.
Молодели от вина ланиты замполитов.
В муравейник собирался избранный народ.

Ни дворца, ни фонтана, ни сада,
Только ветер с пугающе детским лицом,
Кувыркаясь в просторном мышинном халате,
Тянет за космы огонь на поклон.

Что за пытка под властью бессонницы видеть,
Теряя рассудок, не смея узнать
Кровосмешение в мыле бессилия
В плавких объятиях пожарной братии.

Это – пятна антоновы неизлечимые
На трамваях, полотнищах, пальцах проворных,
Затянувших горячей еще пуповиной
Синеглазой свободе слабое горло.

Это капище Солнца при светобоязни.
Этот запой, эта прорва – несчастье.
Это поэзия осиротела.

Поэзия.

Поэзия, кукла белая.

Кукла, кукла, кукла белая,
Руки мои мыли мертвое твое тело...

Напрасны красные одежды,
Суть, воскрешенное сиротство.
И все ж ступайте. Так же прежде
Рядились, добиваясь сходства

С мечтой. На ржавом дне надежды,
На рынках, в комнатах, в зиянье плоти
Ищите, точно рая, свежести,
Хотя бы привкуса мелодии.

Пусть в красном, бритыми под ноль,
Пусть вовсе без одежды и без ног,
Безмолвствуя, теряя честь и соль,
В кипении крапив и проволок

Ищите, все равно ищите чувства
В несдержанной, как хлор, котельной,
Где мечет карты в топку туз
Нечесанный, как понедельник.

Ступайте и умрите. Пусть загадкой
Стреляют шалости и трэф
По сумеркам сует, по сладко-
голосым закуткам. И так, сгорев,

Зажжете вы огни предместий,
И звездочки, и колокольни в головах.
И тысячи смертей развесить
Фотограф не сумеет впопыхах.

Свет,

Теплой соломы беспечный табунщик,
Бронзовый сторож бильярдных голов,
Завороженный ребячеством грузчик
Лишних колец и пустых ободов.

Сонный чудаковатый задира,
Рыбий угодник, сплетник песчаный.
Только в осиротевших квартирах
Покоен и грозен он, точно Савл,

Свет.

Цветы, водяные знаки желания,

Вздохи хаоса, капли вины,
Вещие уголья в хмуром духане,
Укусы кладбищенской тишины.

Шуточный век. Дольше длится тревога,
Больнее глазам обескровленных мальчиков,
Страшнее известие на пороге.
Как стыдно, когда перед зеркалом плачут.

Как стыдно, когда поджигаются письма,
Когда счастья выпрашивают у Святых,
Когда поутру вездесущая изморозь
На тучном столе убивает цветы.

Нет пределов. Сомнения дольше, чем свет.
Выше муки терпение, глухой экономкой
По часам вычисляющее болезнь, как обед.
Ярче ярмарки дождь. Судеб головоломка

Строже знаков и фраз. Нет пределов гурьбе.
Нет пределов белью, пеленавшему жизни.
Нет пределов предутренней ворожке,
Что и солнце, и прах, и голубка, и тризна.

Зрелость – пострел на ходулях,
Медленных дней неуклюжий огонь,
Шум расставляемых стульев,
На жажду сиротская броня.

Это когда, припадая к ребенку,
Пьют, как причастие, признаки жизни,
Это когда так огромны спросонок
Сны, закрутившие вычурно сызнова

Слезы блаженства в распластанной комнате,
Синюю кровь на руке виночерпия,
Ленты, звонки, расписания, хлопоты,
За осторожность на тысячелетия.

В иные запахи войду
На горе.

Все в этих стенах на беду.
Неволя.

Какие круглые шаги,

И краски глухи!
По воскресеньям пироги
Пекут старухи.

Бессилен свет. Оконный рай
Замылен.

И тесно пташкам на коврах
Чернильных,

И неподвижны за столом
Затылки,
И год томится за стеклом,
Как в ссылке.

Знать, из-за соли кутерьма.
Как душно!

И поутру хоть выжимай
Подушки.

И шепотом дверной проем
Измучен,
И капли жира на холеных
Ручках.

И чьи еще там имена
В бумагах?

И чья доказана вина
Во благо?

Еще какие там дыбки?
Неслышно.
И спят в корзинах каблуки,
Да мыши.

А ведь когда-то в доме жили
Собаки,

И в рукавах не тормошилась
Драка.

Холодно ломкому храму безлюдной весной,
Легкие веточки хаоса тянут по капле
Липовый мед образов ли, воздушный настой
С уст отлетевших имен, небеса ли.

Утром касается, тая, его голова
Молочной реки, где утоплены дивные птицы,
И нет детворы, чтобы камушками баловать,
И нет стариков, отражения чтобы напиться.

Так наша судьба, запыхавшись, на корточках спит,

И сны не привидятся ей, и весны уж были,
И седина пожелтела, и сердце уже не болит,
И боги, как поцелуи на окнах, остыли.

Отрочество

Когда я начинал, насвистывал еще и верил,
В какое послушание втравливали вы меня?
В напасть не той ли чудодейственной материи,
Что ланью ластилась и согревала без огня,

Лелеяла до ревности, до мщения
Навзрыд и наугад, на корточках, на площадях?
Не в истины ль, придуманные по прочтении
Чужих покоев? Не воловий шаг ли

Вы выдавали за волнение любовей?
Не шуткам ли учили, вешая крыла?
Моим поводырям вы угождали ловлей
Пернатой тайны. Тайна ли была?

Была весна. Все что-то отмечали, водку прославляли,
Млел черный день в объятиях жарких душ.
Отсутствующих поминали. Таяла, мерцающая,
Мечта и горечь ранних дружб.

Не вырваться из цвета слова
Гранатом обозначившему страсть.
Певцу, пропойце, птицелову
Судьбой предписано пропасть.

Рассыпаться трамвайным треском,
Иссякнуть комариной кровью,
Остыть испариной на пресном.
Остаться на суровом солью.

Скатиться капелькою ртути
Под доски. К лету стать змеею.
Стать старичком с картонной грудью
В курилке. Стать тоской сухою.

Пропасть и наблюдать украдкой
Алхимику светлоголовому.
Пропасть, но быть – ему награда
За колдовство, за ключ, за клоуна.

Не тревожьте поэта. В нем август и хмель
И потешные песенки безо всякого смысла.

Он кормит собаку. Его плечи сгорели.
Он всегда в одиночестве будет. Без чисел,

Без дат. Без родных, сумасброд с погремушкой.
Страшный ребенок в камзоле и перьях.
Он ищет слова и кружочки... и кружит
Впотьмах, в лопухах, в лебеде... Под подушкой
Его петушок. И желанье безмерно,

Желание спать. Но не спит он во сне.
Он – слепой. Улыбается только и слушает
Скорбь религий, одышку пустынь, боль растений,
Матовый треск кораблей вислоухих

Под грузом бочек, торговцев, актрис, жеребцов.
Их площадную брань, комплименты и стоны.
Его мучает гул беспробудных голов их.
Копошение тел, нетерпение лона.

В нем живет, путешествует, старится зной,
От которого гибнут колоссы под палубой.
В нем машины искрятся, не зная покоя,
Барабаны беременные пустотой,
И болезни чужие, и гости незванные.

Тридцать лет. Лебеда. Бормотание пустое.
Встретит утро ль голодный ковчег или сгинет,
Он не знает, и не пытайте, не стоит —
Он пойдет и напьется, а вам будет стыдно.

А бывали еще времена,
Когда ветер за юность дарил поцелуи,
И взлетали лихие от ласк племени
С околдованных улиц под купол июля.

И, казалось, купанию галдящему нет
Ни молвы, ни пределов, ни утренних ссор,
Сверху дранью казался опасный запрет,
И, казалось, следил лишь кошачий дозор.

Были легкими боги без слов и имен.
Были винными тучи, прозрачными числа,
И потехи прощал, точно Лир, небосклон,
И, как Гамлет, глазастый простор был неистов.

Как везло! Как искрились во тьме письма,
Как дрожали разбега горячие крыши?
И шуметь бы еще, да прошли времена,
И слетают провалов афиши.

Черпали. Поутру из кружек звезды пили
Посапывали Эльфы, коленочки поджав.
Застенчивый узор со сна, еще не в силах,
Стелился над водой, мерцая и дрожа.

Из заперти отпущенное каторжное зрение
По сполохам петляло, захмелев от новизны,
И вожделенно расплетало косы безвремени,
И вдохновенно забывало варварский язык.

Ступали, не страшась уже невозвращения.
Нашупывали тропы неземных зверей.
И выстывала тишина как высшее терпение.
Казалось, ярче прежних дней,
День занимался.

За вашими окнами, юноша, божественная кутерьма,
А ваши цветы задолго возделывал садовник Глюк,
А дальше, там, где дождь, домики, домишки, дома, дома,
И качает ветер придуманный за каким-то чертом крюк.

По прошествии тысячи лун, юноша, вы – нечаянный
человек,
Но это потом, далеко, а сейчас вам забота – мечты
Да сомнения, навроде того, был ли уместен ваш смех,

Да одно увлечение, довольно серьезное, влюбленность почти.

Конечно, когда-то ваши терзания, юноша, обратятся в дым,

Ваш ангел когда-то забросит колчан и лук,

А пока наслаждайтесь, балуйте, ходите босым

И не забивайте себе голову вопросом, зачем этот крюк.

И в парикмахерской, где желтый дух повинной,

И в навсегда связавшей линзами аптеке

Нет Рождества. Здесь все непоправимо

Смирно, как замужество калеки.

Из этих комнат строятся скитания

Пустые и огромные. От лета

Не уберечься в них. Нежданно

Не появиться, только что посмертно.

В них насекомые насмешливы. А впрочем,

Здесь нежны руки и степенны платья.

И апельсин в хрустальнейшей сорочке,

И в зеркалах печаль особой стати.

Впрочем, здесь приют, не теребят чужие

Чужих за мыльность дней, за слух, за слабость.
Здесь губы только что живые,
И забытье как будто шалость.

Нет Рождества. Но провидение
Здесь также не окликнет из окна.
Храни же, Господи, за всепрощение
Безвременные, безответные дома.

Чем не полночь взгляд, полон вечности,
В счастье своем разуверившегося.
Высчитавшего беспечный стук
Каблучков от потех до посмешища.

Чем не полдень дом поднебесный его
С ледяной колыбелью под лестницей,
С легкими ласточками наверху,
Прелесть сплетать осмелившимися.

Перебродило все. Сомкнулось и переплелось.
Неповоротливая Азия в лиловых шaliaх

В окошко для похлебки видит гроздь
Живую виноградную. В расшитых далях

Фонарный путь влачит холодного жука
К Европе, захлебнувшейся в туманах.
И цепенеют, наблюдая чужака,
В степях проявленные истуканы.

Смерть отступила. Женский хор
Водой речною стал, но лодочник не слышит.
Он сам остыл, но жестом вызывает с гор
То облако, что лодочника ищет.

На севере ленивые цветы
В оправе солнечной совсем погасли,
Лишь долгие белесые мечты их
Остались на ресницах плаксы

Вьюги. Вмиг мгновения замело.
Неосторожных птиц совсем не видно.
Не видно пирамид. Ах, как тепло
Теперь деревьям и покинутым.

Санкт-Петербург

Молвой и волею вода полна
В долине ламп, голубок и полуподвалов.

Из ливней вызволенная волна
Влачит большой улов с величьем вала,

Смывая плеск полуденных каналов
И клей с оскала кукольных коней,
Вода, как корь, капризничает в малом,
Лавиной в нескончаемом клокочет. В ней

Малокровного вельможного творения злей
Иные волосы Светлан оплакавших. Иные
Теперь уж лики в ветхих платьях лицедея
Волнуются не мертвые и не живые.

Все – вымоленный голос с запахом полыни,
Со шпильями догадок, кадыками непогод,
И огоньки жилищ на самом дне, на глине,
И долгий след от слов чахотку выдает.

Великомученица трав и суеверий,
Красавица провинция, не милостью,
Но важностью вы взволновать умели,
И на глазах у вас не веселились —

Не смели. Пряничную старость
Сулила тем, кто вас любил,

Разлука. Нищета ж, терзаясь,
Теряла мужество и пыл.

Долготерпение мальчиков на хорах,
Прекраснодушный плач сестер
Вы стерегли булавками на шторах,
И в письма запирали вздор.

Ваш бал – безмолвие и пустынь,
Вольноотпущенниц покорные фигуры,
Что снегом ослепленные искусно,
Обнявшись, ждали польки на котурнах.

Засим крестообразны и безгрешны
Печали, коих тенью вы касались,
И, в благодарность нянчившим надежду,
Навеки скорлупа в степи осталась.

Ах, Сибирь! Твоих подневольных иноков,
Битых, со злыми голубиными глазами,
Будто бы тризна трафит спиртом синим,
Да словом сорным, да светлыми слезами.

Будто ненасытны воронки тоски их как рак,
Тянут взасос свист, и свары, и выстрелы,

Будто бы в рабстве рек их зеркальный знак,
Крест беспамятства, узел неистовства.

Ах, Сибирь, безответная грузная мать,
И с собаками не углядеть за подкидышами.
И в простуженных легких не удержать
Кислорода на всех. Даже Всевышнему

Не поплакаться – в храме хлам и мороз,
В тюрьмах мытарь пролил приворотное зелье.
Дальше – утро, еще, еще, все – допрос:
Где теплее?

Теперь о всаднике поподробнее.
Его ленты и перья лишены глагола.
Его конь кружевной головоаст и безроднее
Бездны самой. В сечении холода

Лоск оболочек телесного взгляда,
Выстудившего рыбаков на заливе,
Выудившего колокола да
Вызвонившего вишни да сливы.

Бедный садовник в ознобе дыхания его
Ищет очки по карманам веками.

И все бледнее в деревнях страдания,
И чудеса расплываются сами.

Один василек кричит на пригорке,
Выше туманов и муторных странствий,
Тише пропажи и конского взора —
Печальна зима в нас, но всадник прекрасен.

Каленые кузнечики,
Что, ваша молотьба
Звоночков не излечит ли
Из рода голытьба?

Не разобьет чеплашку ли
С малиновым вином?
Не спортит слух ли пташечке
В колене крепостном?

Гвоздочек посередочке,
Прозрачное весло,
Всё – искорки да звездочки,
Чудное ремесло.

Под точками да бликами
Дрожит нестройный сон

Переводной картинкою
Заплаканных времен,

И соловьи-разбойники,
И мебель у крыльца,
И солнце, и покойник
Купает пострельца.

Уже ль вам проще проскочить
Седое табу неба?
Ужели ваши тросточки
Касаются судеб?

Каленые кузнечики,
Что это значит – спать?
Сентябрь уж. Жизнь – на плечиках?
Как подлинно узнать?

Как мне зябко!

Как мне зябко, знают только мои ноги.

Как мне зябко, знают только мои ноги и кот, чьи глаза
холодны, как на выцветшем снимке.

Как мне зябко, знают и кот, чьи глаза холодны, как на выцветшем снимке, и парк пересохший с нищенским бродом.

Как мне зябко, знает парк пересохший с нищенским бродом и сонная женщина с легким веслом, что однажды оставлена в парке навек, оставлена там, где ее умертвили запахи краски и военные марши.

Как мне зябко!

Как мне зябко, знает только военный марш.
У него стопудовые сапоги и глаза карусели.
Так пульсирует боль.

Боль – это крик петушиный и страх.
А страх дорисует и гребень, и клюв, и у клюва оранжевые завитки.
Вот что такое боль.
На морозе боль забывают.
Постараюсь и я забыть свою боль.
Чтоб не слышать военного марша.
Чтоб не слышать военного марша и запахов краски.

Как мне зябко!

Как мне зябко, знают только воскресные дети.
Воскресные дети играют в «коробочку», делая вид, что не замечают меня.
А снега все нет.

Как мне зябко!

Одна только ты не знаешь, как мне зябко.

И я отнял бы права воскрешать любовь у всех, кто
силится это сделать.

Я бы крикнул – этого нельзя!

Если бы только мог кричать.

Если бы мне не было так зябко.

Этого нельзя!

Ибо могут поблекнуть картины жизни, а кот исчезнет
совсем.

Когда от глаз моих свой свет сокроют небеса,
Да будет шепоток, да будет теплый сад,

Да будет в лопухах плотва резвиться с детворою,
Да будет корочка тетрадная древесною корою,

Заласканная ночь да будет молоком.
Да будет хлебный мякиш под кружевным платком,

Да будет письма колдовать над чашкой паучок,
Да будет в головах больного сонный порошок.

Да будет тихим, точно мышь, подслеповатый дождь.
Да будет птицей молодым украденное ложе.

Да будет несть числа стрекоз на чердаке,
Да будет пламя танцевать на сбитом каблучке,

И будет первозданный день, и будут чудеса,
Когда от слез моих свой свет сокроют небеса.

Все путаницы старости осенены веретеном.
Засим так серы ангелы в полуистлевших книгах,
И оттого так осторожен сон перед окном,
Что численники врут, когда вериги.

И в темных комнатах натруженных шкафов
Фарфор не голубеет, умерли соседи,
Но пред испариной могильных лбов
Всяк страх бездомен. Все на Божьем Свете —

Чаепитие. Бездонное. На улицу порог
Как память хмур. И, как чужие снимки,
Болезни детские, Рождественский пирог
И легких зим беспомощная синька.

Век, корочка лимонная на самом дне,

Забыть тебя, не обжигая пальцев,
Мудрено. Жаль лакомку. Не ко среде,
Знать, разминуться с веком старцу.

Россия сжигает осенние листья.

Дни бездыханны над черной водою.
С востока уж боле не тянет халвою.
Россия сжигает осенние листья.

К утру остывают копченые дачи.
Все золото мира за ночь растрчено.
Россия сжигает осенние листья.

Царственны волны холодного шелка.
Небу неловко за шалости облака.
Россия сжигает осенние листья.

Ламе продрогшей Америка снится,
В стеклах пожар. Как здесь не молиться?
Россия сжигает осенние листья.

По всем закоулкам посланцы разлуки,
Пустые бумаги. Тихо. Ни звука.
Россия сжигает осенние листья.

Прозрачное время, и что нам весна?

Excentrique

Так идем за дождем,
Оставляя золу,
И восьмерки свобод оставляя.

Идем за дождем
По стопам этих стран-
ников темных идем по стопам,

За дождем, за дождем.
Этих комиков стран-
ных идем по следам. Позади пустота.

Идем за дождем,
Не склоняя имен,
И склонивших на шаг не склоняя,

Идем за дождем.
За зверьем золотым,
За наученным кольцами хмурым зверьем,

Идем за дождем
Через шорох листвы,
Через черные лужи и шорох листвы.

Идем за дождем,

Наша чаша пуста,
Наша память чадит и остыли уста.

Идем за дождем,
Не петляя.

Идем за дождем
По совпавшим векам,
По наитью на пальцах совпавшим векам.

Идем за дождем
И не знаем судьбы,
Мы и собственный голос не знаем.

В сосредоточенности женщины есть сила разрушения
Зачем иначе, вырвавшись на страх, мужи
В глазах у леса страждут сожаления,
И бесконечно точатся в чумных углах ножи?

Иначе в чем влечение речи к ключьям
На исповеди перед сникшею грозой?
Зачем при холоде бы так горели ночи,
Когда б не кочет с просьбой на постой?

Зачем же ревность связями сквозными

Вязала жизни бы в ловушку для причин,
Когда б не эта перебранка со Святыми
У бронзовой натурщицы витрин?

Когда душа ее была испугана как верно,
Что изменилось время, и дощатый круг
С лошадами пустился вспать? И кто же первым
Собрал в созвездия веснушки у старух?

В тех неспешных консервных кварталах,
Где горластые в шлепанцах помнят эпохи,
Где подробности лип пустота выживала
И чужие шаги как колодцы глубоки,

Бесконечность нашла свой приют и ослепла,
И на ощупь порочила влажные губы,
Шептала в виски заговором и пеплом,
И игру, и разлуки пуская на убыль.

В тех туманных дворах всегда возвращались
Из самых предсмертных командировок,
И треснувшим стеклам не огорчались,
И не допрашивали полукровок.

Там трава замолчала и водка устала.

Отражения в кружевах заблудились,
Не пропала вода, и круги не совпали.
Только брань копошилась еще будто милость.

Так рождается стыд, когда все отгорело.
Когда боль уж привычка, и в окнах – пропажа.
Когда выдумка тотчас уродует тело,
Занимается стыд, как проказа, как кража.

Вода, возлюбленная лунных слуг,
Обласканная синеглазым блеском,
За волосы свой несмышленный слух
Тихонько тянет стоном, лесом.

Недвижимая будто, чуть дыша.
Жалея вызволенных постояльцев,
От любопытствующих пряча малыша,
Плененные тайком ломает пальцы.

Не Бог ее подслеповатый дух,
Но и за избавленье небосклону
Не выдаст он своих огней, и пух
Оставит, и слова, и медальоны

Оставит до пришествия стихов,

До самых тех времен утраченных,
Когда превыше поселений и грехов
Любовь печальная. Вода ее оплачет.

Татьяне

Мне даровано фантазией Всевышнего
Видеть, как меняется природа
Лишь от цвета глаз твоих. Ты же,
Дань уже тысячелетней моде,

Чувствуешь не слово, грусть знакомства
С пестрыми завесами повадок
От щебечущего вероломства
До шуршащих платьями услад.

Ты не изумляешь отражений,
Зная: при свечах века двоятся.
Красота – божественная лень,
Не балующая певчих вариациями.

И за эту дрожь, за ложь разлома.
За проклюнувшуюся из взрослений
Страсть не будет больше дома,
И не будет власти над Вселенной.

В мигрени небо мокрое
Имело и причал, и прорву
Злых пустыков по самой кромке
Причала межвременья проклятого.
Имело и рассвета ровно
Настолько, чтобы за паромом
Тянулся беспокойный проблеск
И чтобы розовый парок
Прибрежный превратил в Марокко
Пустырь. Улитки номерок
Сверкал, как амулет пророка.
Здесь обрывается дорога.
Мой мальчик, лопотун, игрок,
Не поднимая головы, негромко
Здесь плачет, накутившись впрок,
Так и не выучив урока.
Тот утренний дурман-погром.
Разобраны перегородки,
И размывает, как пороги
Течение, естество мороки,
И обращает местность в сроки,
И старость – в красоту порока.
И не спасенье ветерок,
Когда так страждет обморока
Сырое небо, недотрога,
И осыпает губы рок.

Н. И. Буданову

Как на кухоньке в белесом свете
По соседству с миром грез
Убиенные поэты
В кислом дыме папирос

Просто сиживали, не читали,
Провожали високосный год,
Может статься, что-то выпивали,
Может, слушали, о чем поет

Кто-то там, с одышкой, кухней выше,
Очень глухо, слов не разобрать.
Знал бы он, рискуя быть услышанным,
То, что не дано ему узнать.

То, что именуется провалом.
Стоном, музыкою, глухотой,
То, за что так мучают порталы
Заблудившегося высотой.

Знал ли я, как отвергают двери
Загнанного в три часа утра?
Знал ли я, что гипсовые звери
Помнят каждую пощечину ведра?

Знал ли я, что слово пахнет страхом,
Для бессонницы довольно запятой.
Что уже засвечена бумага,
Стоит лишь склониться головой?

Что на кухоньке в белесом свете,
По соседству с миром грез
Убиенные поэты
В кислом дыме папирос?

Одесса

Татьяне и Анатолию Климовым

Мой фисташковый праздник, смешливый мошенник,
Глаза твои – полные чаши лазури,
И на свет чешуя кораблекрушений
Сумеречнее кинзмараули.

В черепаших закутах, где рыжие кошки,
Совсем как еврейки, на солнце неспешны,
В тазах позолоченные ни за грош
Пузыри путешествуют, нежно

Вздыхая. Пускай, кашеваря, Привоз восковой
На лбах и щеках оставляет ладошки,

И на жести рисунок пороховой,
И воробушкин рай – горелые крошки.

Мой скрипичный соперник, полуночник, задира,
И в «Гамбринусе» слышно, как ходики сохнут,
Оставляя строкам тишины на полмира,
И немножко Багрицкого в каменоломнях.

Вен. Ерофееву

Знамо, пригороды рабские пахнут шоколадом,
И глаза нечеловеческие у собачьей жалобы,
То-то в огоньках вина студеная улада,
В отсыревших проводах гроза, опять гроза, а стало быть,

Мучается проводник долгами да тоннелями.
Выдумали простыни выпачкать брусникою.
Мямлили, да плакались, да жгли табак неделями,
Да клоунов пустили в пляс на сто верст – куси его.

На беду, на сером льду, да в пылиге рожденные,
То-то хвату хохоту – по холодным золото,
А на красной скатерти – яблочки мореные,
А в некрашеном ведре – хрящики да головы.

Лицо дано нам, дабы образумиться однажды.
Познать бы, рассмотреть, что все придумано. И даже
Ангелы, и даже буквы на кольце,
Что обрамляет клок Вселенной. С жалом на конце
Хвоста, увы, наш грех не смеет улыбаться.
Не оттого ли каждый день наш бледен, точно Надсон?
Но розы все же источают аромат.
И что-то было лет пятьсот назад
На месте том, где комнаты как утварь
Рассудительны, а мальчики как утра
Морозны. Быть может, рассыпаясь, те миры
Оставили нам сполохи игры
В медлительности случая, ознобе, свисте,
В болезнях, башнях, прошлогодних листьях,
В лице в конце концов. Но мельница сгорела.
Не перемелется. Не будут то и дело
Сновать грудастые кули. Громовики фонарики
В окно стучать не будут. К Рождеству подарки
Однажды розданы на век вперед, и во дворах
Стоит бессонница со спичкою в зубах.
Но если свет зажечь, себя увидеть можно.

Империя не Вакх, и мочится не виноградным соком

Розовощекий херувим на стены поднебесья,
И, путая понятия, как бы случайно, ненароком,
Не ждите у фонтана рыб и доброй вести.

Не обольщайтесь узанными быть – вас нет.
И не было, и ласточки не ваши стригли гривы,
И не для вас кошачьей выпушки кордебалет
Шалит. И бритвы не для вас игривы.

Вас нет. Ваш чайник никогда не закипит.
И вас не украдет послушница экрана,
И не у вас державно голова болит.
Вас нет. Вы – что-то наподобие тумана

В спортивной зале. Вы – тот кислый запах,
Что душит перед мордобоем раздевалки,
Вы – похвала петле в паучьих лапах.
Вы – капли жира на груди весталки.

Вы – девственность ее. Удел ваш – мед.
Лишь ваша тень стремглав по анфиладам
Подобьем пальца пригрозившего мелькнет,
Но не задержится на бычьем лбу Пилата.

Вас не было. И нет. Вам не отрежут член.
И мальчик ваш рога вам не наставит.
Империи не Вакх, не подвернет колен.
Не поцелует и вином вас не отравит.

На сон случалось помолчать,
И выходил пейзаж пустынный
С бесцветной цепью позвонков,
С верблюжьей миной облаков,
Осиротевшим чаем
И почтой голубиной.

Владенья паузы мертвы.
Как молю битая подкладка.
Как не избавиться воровке
От крылышек татуировки,
Не выполоть ее травы,
Не выветриться без остатка

Ее видениям. Мысль бессильна
Уже. Народ безмолвствовал
Уже. На сон затылки проступали
И войны. Под колючим одеялом
Сопела скомканная Абиссиния,
И раненых сверчок считал.

Не в речи – в памяти разрыв,
В любви. В тот час блаженные не спали
И уходили со двора.
Так убоялся комара

Их сторож бедный. И обрыв
Перед падучей стал бледнее стали.

О, юности песочные часы.
Вас потерял хозяин, враль, ваш праздник.
На сон мерцали огоньки,
К соседям пятились звонки,
И пустоту хранитель огласил,
А утром умер одноклассник.

Суд

Что там за черные пчелы чуют, Ваша честь?
Эскадра оставила Солнце, к чертям Вашу честь!
Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала.
А черные пчелы так чуют, Ваша честь.

Стирай не стирай – все сносилось, сестрица.
Балуют. Будут ли биты окна, сестрица?
Дураки дурят, дурни.
Ярмарка, верно, приехала.
Стирай не стирай – все сносилось, сестрица.

У рукокрылого голова кровью мазана, Вань?
Кровь пустили, Ваиь, кровь пустили, Вань. Кровь
пустили.

Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала.
У рукокрылого голова кровью мазана, Вань?

А шуба на вешалке-то шевелится, бабушка!
Немышь ли шуршит, послушай-ка, бабушка?
Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала,
А шуба на вешалке-то шевелится, бабушка!

Не эти ли руки руки держали, родимец?
Что барахтаться, что рожать, все – родимец!
Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала.
Не эти ли руки руки держали, родимец?

Солоно, поутру не разлепишь ресниц, горюшко.
Что делает бритва в горнице, горюшко?
Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала.
Солоно, поутру не разлепишь ресниц, горюшко.

Тихо-то как, петухи не ослепли ли, пан?
Пил да плутал, да совсем потерялся пан,
Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала.
Тихо-то как, петухи не ослепли ли, пан?

Долгая жизнь, ангелы все уж сожгли, Ваша честь.

А что за сполохи в степи, Ваша честь?
Дураки дурят, дурни,
Ярмарка, верно, приехала.
Долгая жизнь, ангелы всё уж сожгли, Ваша честь.

Чудеса.
При небесных-то наших строениях
Не дадут, не позволят...

Падчерица
Выплачется, да будет терпеть.
Не бранится, не ссорится.

Все – леса,
Да дымы, да полуденный плен.
Выспаться б вволю.
Ящерицами б
На солнце сгореть
Беде да бессоннице.

Глухота,
Безмолвия толстый клубок
Шуршит, да щетинится.

Холода,

Да птиц не слышать, да парок,
Далеко до столиц.

Глухомань.

Перед Богом лишь знать назубок
Часы да гостиницы.

Хохотать бы,
Да крыть, да случаются в срок
Дураки да больницы.

Нелюбовь.

Суть оскомины паче слюды
По заключенным окнам.

Не велит
Тьмою брезговать стыд
По закутам да кровлям.

Не любой
За червивые эти труды
Не свернет и намокнет.

На мели
Мир, как рыба, блестит,
Отражениям ровня.

Ночью, в нежный час, уже под утро
Без исподнего нас память оставляет,
И пустоты суток населяет
Лаской со смирением приюта.

Безнадзорно не впервой скитаться
Пыткам по интимным закоулкам
Торса, пригвожденного проступком
К полушарию невидимой кровати.

Сумрачных знакомств немая перспектива
Придает двусмысленности рыбьим глазом
Даже тем глубоководным фразам,
Что сродни засвеченному негативу.

Этот час причудлив и бесплоден,
Словно сладострастие Нарцисса,
Колет, колет усиками крысы,
Душит, душит жилами мелодий.

Москва

Люблю тебя, Москва, мороз,
А в дни болезни горше и светлее,
И царский строй серебряных полос,
И душный ряд с поклоном брадобрея.

От желтоглазых в шубу навсегда
Ты спрятала свой круглый скрип вразвалку,
И матовых колен им не видать
Вовек, и снегиря, и сына, и русалки.

За голос льда, за цвет, за весть
Живут огнем твои бокалы,
И луч, во звон преображенный, здесь
Восторженной январского оскала.

Не поцелуй твой жертвенный пирог —
Сам голод с золотыми вензелями.
Москва, благословен твой скоморох,
Повисший погремушкой над яслями.

Оттого, что крылаты и вежливы звери,
А в огнях кутежа близоруки и горды,
Их вгоняют в соблазн, не считая потерь,
И целуют, целуют их мокрые морды...

В неуютной тетради давно уж нерусского городка
С грузными зимами и нечесаных рожиц колючками
В людной зале, где Бог не бывал никогда,
Где не шумит детвора и красавицы делают ручкой,

Где сырость котельной, устав, уже сделалась ветошью,
Но с выдумкой клянчит и паром пугает,
Где всласть не живут уж, но все еще сплетничают
И под лестницей по стаканчику пропускают,

Где уже не предложат зайти, но еще улыбнутся,
И оплывают в кофейной золе заводы и баржи.
Где и до крови себя ущипнув, невозможно проснуться,
Но Морфей хоть немил и плюгав, все ж ухожен и важен,

Так вот в этой тетради при всей немоте,
При унынье затей и несчастье напрасности
Начертал, видно, спьяну, один грамотей:
Пусть утра туманны, но жизнь-то прекрасна.

О, как я грешен, Господи, мне даже снится пыль!
Я грешен тем уже, что собираю звуки
На складках, в ржавчине иль в хромоте посыльного,
Пропахшего подъездом и разлукой.

Я грешен тем уж, что припоминаю
И правлю репортажи с робких этажей,
Где шаркают и шьют, и пасмурно обычно, и светает
Чуть позже, и зевают в неглиже.

Я грешен. Прячу тишине в карманы
Сухарики и ухожу не помня луж,
На гул жилья, на кашель к океану,
Где вихрем огоньков улитки душ.

Мой грех, мои труды есть воплощенный случай,
В них все – поминки по наивной чехарде.
Когда нарядные еще великомученики
Влюблялись и не ведали пределов.

В грехе моем еще музыка спорит
С гармонией ступенек и щедрот,
В нем вечер – дом, охота – горе,
А завещание – звуков хоровод.

Доченьке Наташе

От невзрачности до звона
Загулявшее окно
Тешит рамочкой казенной
Свет и воздух заодно.

Запускай свои узоры
За подкладку колготы,
Ветер – Юлька-беспризорник
С амулетом золотым,

Мой танцовщик, мой затейник,
Ни на йоту не взгрустнув,
Слаще птичьих колыбельных
И кудряшек стеклодува

Так заходится лазурью,
Что в случившийся провал,
Прямо в комнату от бури
Шкипер прячет свой оскал.

Здесь из тюля и повязок,
Платьев, ниток, пестроты
Соткана изнанка сказок,
Опахало доброты.

И сопит, перебирая,
Ветер тень, как плечики,
И из свиста вырезает
Моцарт человечков.

В. Дремову

Фонари дороже денег
Вдоль проспекта по субботам.
Хоть пустые, хоть хромые —
Пешеходу утешенье.

Не молитва на коленях,
И до ночи не забота.
Рыщут кровь не комары.
И совсем не прегрешенье —

Жалость вдоль домов старинных,
Укус странного совета,
Наслаждение не сбиться.
Вещий сон – в кармане нож.

Страх за Лялечку в витрине,
Что оставлена без света.
И не спит дурная птица —
Головы не повернешь.

Нужно, нужно осторожней,
Умереть – совсем не важно.
Неженатый, моложавый.
Засмеется – не сберечь.

Пусть шуршит в углу сапожник,
Пусть вина не видит бражник,
Глобус сразу оживает,
Стоит лампочку зажечь.

Терпение, мой друг, отменная черта,
А я боюсь воды – она живая,
И кромочка белесая ее – черта,
Что отделяет жизнь от выживания,

И губки на бокале – это смерть.
Не женственна, но жертвенна помада.
Мне холодно в колодец посмотреть,
Когда, я знаю, тишина громадна.

Какие метки оставляет па душе
Всепоглощающее отражение?
Как жалок я, когда я в неглиже
Настраиваюсь на преобразование.

Каналы, колоннады, купола,
Колокола, я уши затыкаю ватой,
Я плачу, ибо знаю – боль плыла,
А не ступала стрелкой циферблата.

Терпение, мой друг, отменная черта,
А я страшусь разлук, когда невнятно
И медленно, когда ты заперта,
Вода, ты подступаешь к горлу, и понятно.

Ты обозначишься той жуткой бороздой,
Которую со стороны еще не видно,
Но все же есть уже она, и дом пустой,
Как барабан гудит, и ангелу обидно.

И коль скоро пост сладкоежки ленив и непрочен,
И каплями тонут надежды на добрые ночи,
И поиски дома – всего лишь овал забытья,
И пахнет больницею скатерть небытия,
И теряется суть, как теряется зрение,
И детали спросонья разъедены сожалением.
И как не зарекайся, на скулах болезни роста,
И песенке в месте присутственном вовсе не просто,
И покуда измена – не чудо, но дрожь новолунья,
И старшие немые, и старость уже не волнует,
Война не закончена, и подворотни в пристенок играют,
И нищий в авоську державу свою собирает.

Затем, что треск забываем,
И выгорают светляки,

По окнам мокреньким трамвая
Невидимые старики.

Затем, что не прозрел котенок,
И ноченька до искр из глаз
Темна, знакомый ваш спросонок
Сощурившись дрожит от сглаза.

Затем, что мусульманин чай
Коварно обжигает рот,
И златоглавая печаль
Простой чернильницей живет,

Затем, что ягодки – отравы,
На сером злые огоньки
Цигарок, забулдыги равно
Рыжебороды у реки.

Затем, что крутятся Петрушки
Убивцами, как петухи,
И жизнь жужжит, снимая стружку
Лиловой рыбьей требухи,

Во мгле, как листья отлученные,
В своем несчастье двойники,
Плывут на свет водою черною
Мои веселые стихи...

Пианизм

Вступление

Откуда эти звуки у дождя?

Все очень просто. Предположим,
Я в немоте и послевкусье в изголовье света,
В кромешном уголке. На кромке Света. Из прохожих —
Лишь птица воробей и обращенная газета,
Созвучная простуженной воде.
Чудно и сладко высоте
Не спать в безмолвии вельможном,
И пауза на музыку похожа.

Легко. Но стоит руку протянуть
Или непредумышленно коснуться взглядом
Дневного – судорога золотая, суть
Причастие и торжество, и мед, и яд.
Взьерошит, поцелует, полоснет, и в дуракавалянье
Заворожит беду, и ляльки, и цыгане,
И белый цвет, ресницы не сомкнуть,
И красный цвет, уста не обмокнуть,
И не бывает ночь,
Еще затей не счесть, и благ, и проч.

Закрывать глаза. Чужое. Все же нежность
И возраст мой, и мой Рахманинов не могут рассмеяться
Так. Вечерняя душа их – отражение надежды,
В наклоне головы, во вздохе, в вариациях,
В посыльном, растерявшемся в дверях,
В его промокших письмах, в сентябрях...
Каденции души неуловимы и стекают
Не повестью, но памятью в пространство, тая

Как аромат. Как дождь.
Как летних отголосков ложь...

Да. Осень. Ранняя. Витает
Божественного рукоделья дрожь...
С девятой цифры. С сентября. Я начинаю.

Дождь.

Сутки безвременья

Привет, Сервантес. Серебряный. Болеро.
Пронзивший кошару копьем одиночества.
Таверна за поворотом уснула. Зеро.
Спит поколение без имени-отчества.

Фонтанами голубей не балуют на площади,
Шутят, как будто полощут белье на реке,
Впрочем, белье на реке уж давно не полощут,
Не пьют лимонад – не тот этикет.

Идальго желтушны и безголовы,
Грибного дождя уже не было тысячу лет.
Высохли губы. Высохли слезы. Высохло слово.
Высохла грудь у кормилицы. Сыплется свет.

Воля привязана запахом лука
К спящей таверне, а потому
На непогоду клинки не гудят, только слуги
Жаждут от страха начистить лицо никому.

Сыплется краска с коней карусели,
Умевшей когда-то занять голытьбу,
Фантик над кладбищем карамели
Провозглашает разбой и судьбу.

Тихой тревоги исполнена мода
Медленных лет ожидания Суда.
Колется больно изнанка свободы.
Точится голод идти никуда.

Но, Сервантес ты скор, и танец твой звонок,
В сумерках блеск, чем не жало копья?
Привет! Будет снег. Улыбнемся спросонок.
В притоны цветы и хрусталь для битья!

К премьере вина подешевле актерам вторых ролей
Придумает ласковый мальчик, кудесник с крапленным
карманом.
Пусть все так и будет нескладно, но чуточку повеселее,
Пусть чуточку порумянее будет актрисам второго плана.

Пенители и недотепы, братья в тоске и свободе
Выберут блеск бесшабашный судеб своих королем,
Пусть златовласая слава током по жилам побродит,
Побродит вино молодое, побродит огонь над углем.

Пускай пустоглазые залы, вздрогнув, перевернутся,
Выпустят свет из темницы, пахнувшей клеем и сплетней,
По выморочным гримеркам ангелы разбредутся,
И стрекоза застрекочет на голове у кокетки

Жизнь стрекозы по Крылову ветрена и беспросветна,
В последних солнечных каплях погаснет холодным
звоночком.

Как будто сюжетец мелькнет в декорациях позднего лета
И кода. Прощай, дивный сон, подробности в многоточии.

Поэт в расцвете лет нуждается в тоске.
Так ветер в сентябре скрывается в деревьях.
Качается тишайшая пора на волоске
Как бледный шарик с ярмарки безделья.

Встречает круглый гул скандалов и друзей
Как неживые поезда без пассажиров,
Без драм и фраз и чертиков везенья,
С годами записавшихся в сатиры.

Он нянчит звук, как ходят за больным
Безропотно и скучно. По ошибке
За день безлюдный платит золотым
Налившимся кровоподтеком слитком.

Украдкой от родных он обнимает ночь
Как осужденную за страстность малолетку,
И на прогулках выдает за дочь,

И учит грамоте по письмам на салфетках.

Он помнит вас. Он не забыл
Как вы его в затылок целовали.
Но он теперь вам не добавит сил.
Он есть и нет его. Он – шорох в зале.

Он в голосе, но нем. Он ищет знак в тоске,
Единственный, что в вензелях невидим,
Как ищут смерть, как строят на песке,
Как за любовь любимых ненавидят.

Практика

Как муторно при медном свете лампы
Лечить спросонок матовой водой
Блаженную болезнь с печалью пополам,
И милость первобытную, которая с тобой

Играет до утра и после долго,
До бесконечности крадутся сотни ног,
Разыскивая неожиданно иголку,
Успевшую под пол от недотрог,

От глупости подальше и раздрая,
Что каждый разнезримою тропой,
В обход зеркал, невнятно проникает,

И ну разучивать по нотам разнбой.

Все, как обычно, в неглиже при детях,
Притихших за стеклянную стеной
Скандално неопрятного столетия,
Исполненного жуткой пустотой

С картинками, где бледные герои
Толкуют, позабыв уже язык
Неведомо о чем. Их пар покроет,
Когда побриться вздумает старик

Беда. Дрожащею рукой, опасной бритвой
Напуган лик колючий и седой
С губами из породы «попросить бы»,
Судьба остаться с беспробудной бородой.

Когда же пробуждение? Все – начала.
Еще обмылок от купания скользит.
Одной воды, как видно будет мало,
Безумие провинции грозит.

Уже в студенчестве, смакуя первый стыд,
Ты понимаешь, краски безвозвратны
И портятся. Так портится, чернея от обиды

Публично изгнанная праздничная вата.

Слова теряют смысл и запахи греха,
Признанья гаснут как снежок на рынке,
Почтовый ящик превратился в старика
С годами. Так суровеют на снимке

Молодожены. Все доступней и глупее
Волшебнеликие девицы.
Под солнцем водка слаще и теплее
И осторожнее желание напиться.

Ревность

Вот, как уста пригрезившегося индуса

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.